

Р. НОЙХОЙЗЕР

РАННЯЯ ПРОЗА Салтыкова-Щедрина и Достоевский

(Параллели и отклики)

1

Первая повесть Салтыкова «Противоречия. Повесть из повседневной жизни» появилась в «Отечественных записках» почти одновременно с «Хозяйкой» Достоевского. Ее герой и героиня (Нагибин и Таля) как бы воплощают главные философские течения того времени — гегельянство и утопический социализм. Молодой рационалист Нагибин судит о жизни с позиций философии Гегеля. Люди, считает он, прежде всего эгоисты, стремящиеся удовлетворить личные потребности, и это убеждение приводит его к выводу, что преодолеть конфликты и страдания, вызванные иррациональными стремлениями, можно только с помощью синтеза разумно желаемого с реально осуществимым. Используя всю мощь гегельянской и фурьеристской социальной критики для того, чтобы «снять покровы» и «обнажить пружины», Нагибин дает рационалистический анализ общества, в процессе которого он приходит к крайней точке зрения, напоминающей позицию «подпольного человека» в первой части «Записок из подполья» Достоевского. Анализ и рефлексии лишают героя активности — пассивное созерцание действительности постепенно подменяет самую жизнь.¹ «Я аномалия, — признается Нагибин, — я только отвлечение человека <...> для меня нет внешнего мира, в котором бы я мог выразиться и познать себя <...> я сам делаю

¹ Нагибин восклицает: «Я могу только созерцать, могу только наблюдать за жизнью, но не жить», «Деятельность моя совсем парализована!» Таля замечает эти его особенности и осуждает их: «...жалко смотреть на пса, как взвешивает он каждый шаг свой, как сам неотступно стоит над собой, следит за малейшим своим движением...» (Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. Т. I. М., 1963, с. 132, 182 и 90). — Далее в настоящей статье ссылки на это издание (в двадцати томах) даются сокращенно в тексте с указанием римской цифрой номера тома и арабской — страницы.

себе попытку из жизни, подвергая анализу всякий мельчайший факт ее и никогда не доверяя первому движению своей природы <...>. Рефлектерство так уже сжилось со мною, сделалось до такой степени принадлежностью моего существа, что без него и жизнь мне невозможна» (Салтыков-Щедрин, I, 99, 101). Он понимает, что спятие противоречий в духе Гегеля, т. е. всеобщее распространение рациональной рефлексии, не может не привести к инерции и смерти.²

Герой Салтыкова — «гегельянец» по преимуществу, но его особенность состоит в том, что он, так же как и представители общественной мысли 1840-х годов, пытается вслед за утопическими социалистами отыскать возможность более совершенного общественного устройства. Более того, он подвергает современное общество столь беспощадной критике как раз потому, что в нем отсутствует какая-либо гармония, в необходимость которой он верит. Объективной необходимостью Нагибин считает и перестройку общества, и это приводит его к «признанию другой действительности, — действительности не только возможной, но непременно имеющей быть» (Салтыков-Щедрин, I, 137). Однако он не находит путей к осуществлению своего идеала, и его слова о трагической несовместимости действительности, которую можно попытаться логически объяснить, но нельзя принять, и идеала, который разумно необходим, но недостижим, снова напоминают нам об аналогичных проблемах «подпольного человека»: «... я, отказавшись от утопии и отвернувшись от statu quo, повис на воздухе между тем и другим и чувствую всю верность моих понятий о действительности, а между тем шага не могу сделать в ней, чтоб не споткнуться и не упасть» (Салтыков-Щедрин, I, 138).³

Таке непонятно чрезмерное «рефлектерство» Нагибина, когда чувства приказывают действовать. Характер такого рода, считает она, мог сложиться только под влиянием жизненных обстоятельств: «... я лучше согласна думать, что эта мертворожденность (т. е. «инерция» подпольного человека, — Р. Н.) случайна в вас, что она есть следствие каких-нибудь тайных, застаревших ран, уязвленного самолюбия, обманутых надежд и других горестей, которыми так обильно наделена жизнь бедного человека» (Салтыков-Щедрин, I, 147). Подобный же склад характера обнаруживают эскапады «подпольного человека», завершающиеся трагическим восклицанием: «Мне не дают... Я не могу быть...

² «Так как жизнь обуславливается движением и исключает идею инерции — наступает период смерти...» (Салтыков-Щедрин, I, 75). Эта же проблема обсуждалась и в «Записках из подполья», что было отмечено К. Саниной в ее работе: Sanine K. Saltykov-Chtchédrine. Sa vie et ses œuvres. Paris, 1955, p. 44.

³ Не следует недооценивать сходства между критикой идеалистической утопии социалистов у Салтыкова и недоверием к стремлениям мечтателя в «Хозяйке» и «Слабом сердце» Достоевского, которое выражено в слабой воле героя.

добрым!» (5, 175). Под маской иронической, издевательской или саркастической риторики оба они — и Нагибин, и «подпольный человек» — прячут чувствительное, отзывчивое сердце.⁴

Характер Тани, ее жизненная позиция соответствуют важнейшим положениям утопической мысли. В противоположность эгоизму и рационализму Нагибина ее движут альтруизм и любовь⁵ — самая могущественная, главенствующая страсть в системе Фурье. Недаром ее любимые писатели — Жорж Санд и Сен-Симон. Если для Нагибина любовь — невозможность, бегство от действительности, то для Тани она безусловная ценность, абсолют, не требующий никаких логических объяснений.⁶ Ради любви, — вслед за утопическими социалистами объясняет Салтыков, — человек готов пожертвовать даже своими исконными эгоистическими интересами, ибо она выражает глубочайшую потребность гармонии и счастья.⁷ Однако социальное неравенство препятствует «свободному развитию страстей», без которого любовь неосуществима. Место Тани в социальной иерархии, ничто Нагибина, его низкое общественное положение не дают свободно развиваться их любви. «В ненормальной среде нельзя и требовать цельного, гармонического проявления деятельности человека», — вместе с Фурье заключает Салтыков (Салтыков-Щедрин, I, 98).⁸ Социальные противоречия обрекают и Танию и Нагибина на страдания.

⁴ Ироничность Нагибина притягивает Тани страдания: «... вы сами не знаете, как терзаете меня своим насмешливым тоном!» (Салтыков-Щедрин, I, 154).

⁵ «Да вы, как я вижу, на практике следуете правилу любить ближнего, как самого себя», — замечает ей Нагибин (Салтыков-Щедрин, I, 83).

⁶ Позицию Нагибина Тани передает следующим образом: «Говорит он, что любви нет, что мы, как дети, только обманываем ею себя, что жизнь наша пуста — вот мы для того, чтоб хоть чем-нибудь заполнить ее, и выдумали себе игрушку, и играем в любовь...» (Салтыков-Щедрин, I, 89). Сам же Нагибин изводит любовь до некоего эгоистического желаний, когда говорит о ней: «... это простодушное стремление любви к чему и как понало, лишь бы любить, а там — хоть пропади и разрушися весь мир» (там же, 73).

⁷ Аналогичное стремление к счастью и гармонии «подпольного человека» Достоевского символизирует *другой* хрустальный дворец, перед которым уже нельзя будет показать язык (5, 120—121).

⁸ В другом месте Нагибин заявляет, повторяя утопически-социалистическую (особенно фурьеристскую) критику общества: «... любить и наслаждаться своею любовью может только человек, вполне обладающий высшим благом в жизни — безопасностью <...>. Понимая так любовь, судите сами, способен ли к ней человек, которого жизнь есть непрестанная забота, которого каждый шаг есть уже борьба за кусок насущного хлеба» (Салтыков-Щедрин, I, 98). Нагибин отчетливо выражает фурьеристский взгляд на реальность, когда говорит: «... полное удовлетворение какой бы то ни было страсти радикально невозможно при известных условиях жизни» (там же, 99, а также 135). Именно в этой связи Салтыков ссылается на Гоголя и Достоевского. Имея в виду, конечно же, первый роман Достоевского, Тани упоминает о «бедных людях», а Нагибин добавляет, что настоящие герои того времени — это Акакий Акакиевич и Макар Алексеевич (т. е. Девушкин).

В «Противоречиях» Салтыкова можно обнаружить символы, заставляющие вспомнить *хрустальный дворец* и *каменную стену* в «Записках из подполья» Достоевского.

По ходу действия Нагибин понимает, что попал в ловушку умозрительных логических схем и что возвышенная система Гегеля оказалась волшебным дворцом без окон и дверей, откуда нет выхода к реальной действительности: «Я заперт в каком-то сказочном доме без дверей и окон, и не проникнет никогда в эту холодную темницу радостный луч солнца надежды» (Салтыков-Щедрин, I, 134). По сути дела это тот же хрустальный дворец «Записок», хотя в нем и отсутствует символика утопического идеала, в котором Салтыков, в отличие от писавшего в 1864 г. Достоевского, тогда еще не разочаровался. У Достоевского образ хрустального дворца направлен в равной мере против рационализма Гегеля и социалистических утопий Сен-Симона и Фурье, которые суть, с точки зрения писателя, плоды одного дерева.

Каменная стена есть символ того, как человек ограничивает свою свободу, признавая разумность и необходимость бытия. Согласно «Запискам из подполья», законы природы и науки, базирующиеся на математических расчетах, установили границы поискам истины. У Салтыкова мы находим ту же идею, выраженную, правда, в более гегельянском духе: «... вся свобода наша состоит в безмолвном повиновении царящему над всем сущим закону необходимости» (Салтыков-Щедрин, I, 105), — закону, который представляется Нагибину «гранитной скалой» (там же, 155). Человек должен примириться с законом необходимости, считает он, ибо с реальной действительностью не только невозможно, но и бессмысленно бороться. Однако Нагибин, так же как и «подпольный человек», сознает, что его сущность восстает против диктата необходимости, даже если разум видит бесполезность подобного бунта.⁹

⁹ Нагибин говорит о себе: «... я должен покориться закону необходимости» (Салтыков-Щедрин, I, 128) — и чувствует «сознание невозможности ... и даже неразумности борьбы с необходимостью» (там же, 128—129). Однако вся его натура восстает против этого рационалистического и ограниченного постулата: «... а я вот столько лет уж бьюсь, как рыба об лед, об эту гранитную скалу, называемую жизнью, и до сих пор еще не понимаю ее, до сих пор не могу устроиться в ней!» (там же, 155. — Курсив наш, — Р. Н.). Позже «подпольный человек» скажет: «... я и не примирюсь с ней (с каменной стеной, — Р. Н.) потому только, что у меня каменная стена и у меня сил не хватило» (5, 105—106). Нельзя оставить без внимания «гегельянский» подтекст в том, как понимает «подпольный человек» «каменную стену». «Как будто такая каменная стена и вправду есть успокоение и вправду заключает в себе хоть какое-нибудь слово на мир, единственно только потому, что она дважды два четыре, — восклицает он. — О слепость слепостей! То ли дело всё понимать, всё сознавать, все невозможности и каменные стены; не примиряться ни с одной из этих невозможностей и каменных стен...» (5, 106). Отметим, что Салтыков также использует формулу «дважды два четыре» для того, чтобы показать логический характер «закона необходимости»: «Во всяком случае, подобные

Туник, в котором оказался Нагибин, не был приемлем для Салтыкова, и на последних страницах повести он указал на возможность выхода из него — выхода, который также отражает величия эпохи. Вслед за М. Гессом, А. Цешковским и младогегельянцами Салтыков приходит к выводу, что только «философия действия» способна по-настоящему объединить логическое истолкование действительности в духе Гегеля (Нагибин) с утопическим идеалом (Таня).¹⁰ Достоевский в «Записках» идет еще дальше, показывая, что «философия действия» не приводит к желаемым результатам: подлинное существование его героя то и дело прерывается припадками лихорадочной деятельности, когда он пытается действовать, но лишённые веры и подлинного идеала, все его *действия* оборачиваются ему же во вред.

2

В 1849 (или 1848) г. Салтыков написал рассказ «Брусин» (при жизни писателя не публиковался), в котором, как мы полагаем, содержится скрытая полемика с Достоевским.

В «Брусине», по-видимому, Салтыков создает сатирический вариант «героя-гения», изображенного в повести Достоевского «Хозяйка». Персонаж Салтыкова, в частности, говорит о себе: «Вот у меня бывают иногда сны <...> явится тебе <...> женщина такая, что магнетизм и электричество так и текут из очей ее светлыми струями, так и слышишь, как она шевелит в тебе то неопределенное чувство, которое подступает все выше и выше и, наконец, давит тебе горло... Так вот какая женщина, братец, ко мне является, а я просто сижу себе да записываю...» (Салтыков-Щедрин, I, 318—319). В этих рассуждениях, по наблюдению современных исследователей, отразились упреки Белинского автору «Хозяйки», который, в передаче критика, следующим образом характеризовал своих героев: «В глазах у него (Мурина, — Р. Н.) столько электричества, гальванизма и магнетизма <...>, Ордынцов *бичуется* каким-то неведомо сладостным и упорным чувством...»¹¹ В другом месте повести «Брусин» рассказчик говорит, характеризуя таким образом любовные похождения Брусина:

рассуждения более приятны, нежели полезны, потому что действительности-то все-таки переменить нельзя, как нельзя, чтоб дважды два было не четыре, а пять» (Салтыков-Щедрин, I, 74). Заявляя, что дважды два может равняться и пяти, если он того пожелает, герой Достоевского доводит свой бунт против «каменной стены» до предела.

¹⁰ Понимая это, Нагибин выражает свою мысль следующим образом: «... я по-прежнему остался один с своими сомнениями, беспрестанно стараясь примирить противоречие теории и практики, разума и жизни, и всегда без успеха, потому что *между теорией и жизнью не было посредствующего члена, не было деятельности, которая одна только в состоянии совершить великое дело примирения*» (Салтыков-Щедрин, I, 182. — Курсив наш. — Р. Н.)

¹¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. X. М., 1956, с. 350, 351.

«Так вот, господа <...> как некоторые люди беспрестанно кричат о жажде деятельности, жалуется на какие-то препоны — а на поверку выходит, что вся эта жажда деятельности ограничивается какою-нибудь любовишкой — да как еще обидно, нелепо ограничивается» (Салтыков-Щедрин, I, 321). Слова эти в равной степени можно отнести и к герою Достоевского Ордынцову.

Возникает вопрос, не является ли в «Брусине» сниженная, реалистическая трактовка темы любви в духе «натуральной школы» ответом Салтыкова на мистико-романтическое развитие этой темы в повести Достоевского «Хозяйка»? Уже в «Противоречиях» показано, что идеальная, романтическая любовь может существовать лишь в мечтах, порождением которых и была героиня повести Достоевского «Хозяйка». Знакомый с повестью Достоевского Салтыков, вероятно, считал, что поступки ее героя Ордынцова *переалястичны* и сентиментальны.

Суди по вступлению к рассказу, Брусин, подобно Ордынцову, — романтик, устремленный к утопическому социализму, но его мечтательность при этом не заходит так далеко, как грезы наяву героя Достоевского. Да и возлюбленная Брусина Ольга начисто лишена того романтического ореола, который в «Хозяйке» окружает Катерину. Это вполне заурядная, необразованная девица несколько сомнительного поведения, да и в ее «дяденке» нет ничего похожего на демонического Мурина. Салтыков сознательно осуществляет *деромантизацию* образов Достоевского, в результате чего любовные отношения героя и героини принимают совершенно иную форму — идеальная любовь Достоевского превращается здесь в довольно обычную связь, в «любовишку», как ее определяет повествователь в конце рассказа. Следует отметить также и то обстоятельство, что, несмотря на сходство судеб главных героев обоих произведений, и Брусин, и Ордынцов обращаются к традиционной религии, начинают истово соблюдать все церковные обряды, — Салтыков описывает обращение Брусина в веру с сатирической интонацией, в то время как Достоевский рассказывает о перевороте в душе Ордынцова вполне серьезно.¹³

¹² «Мы с каким-то презрением отворачиваемся от той среды, в которой живем, и создаем себе особый мечтательный мир, который населяем призраками своего воображения <...> где по маню нашему <...> являются чудные, светящиеся женщины с распростертыми объятиями, с жгучими поцелуями и поцелуемого нею» (Салтыков-Щедрин, I, 73).

¹³ Достоевский пишет об Ордынцове: «Но что-то похожее на мистицизм, на предопределение и таинственность начало проникать в его душу. Несчастный чувствовал страдания свои и просил исцеления у бога <...> по целым часам лежит он, словно бездыханный, на церковном помосте» (I, 318). Рассказ же о судьбе Брусина завершается Салтыковым следующим образом: «... недавно, впрочем, какой-то знакомый говорил мне, что он встретил его в Москве, что будто бы Брусин живет там с родителями, которые водят его, по воскресеньям, к обедне к Николе Явленному» (Салтыков-Щедрин, I, 321).

Деромантизируя в «Брусине» сверхромантических героев Достоевского, Салтыков предвосхищает движение самого Достоевского к критическому переосмыслению романтического идеализма, которое нашло самое сильное выражение в «Записках из подполья». Поэтому нет ничего удивительного в том, что между Брусиным и «подпольным человеком» существуют определенные параллели, а темы обоих произведений перекликаются друг с другом.

Брусин склонен к крайностям: у него бывают вспышки отчаянной, безрассудной деятельности, которые сменяются длительными периодами рефлексии и нерешительности. Мнительность — главная черта его характера,¹⁴ а понимание собственных недостатков заставляет его озлобиться. Тот же склад характера мы найдем позже у «подпольного человека»; и Достоевский, как и Салтыков, сочтет, что его порождает чересчур книжное, романтическое и идеалистическое воспитание.¹⁵ В рассказе Салтыкова предвосхищено и отношение «подпольного человека» к Лизе, его вялые попытки образовать ее, которые ни к чему не приводят, ибо, добываясь самоутверждения, он на деле стремится полностью подчинить Лизу и предлагает заплатить ей за «доброту». Брусин эгоистически использует любовь Ольги, а затем, когда его охватывает порыв благородства, пытается перевоспитать ее.¹⁶ Потерпев неудачу на этом поприще, он бросается в другую крайность — узнав, что у Ольги до него был любовник, берет в долг десять рублей и вручает их девушке со словами: «За вашу снисходительность». В негодовании Ольга бросает деньги в лицо Брусину и уходит от него. Однако вскоре выясняется, какая именно потребность стояла за привязанностью Брусина к Ольге: он приводит другую, «краснощекую и полную девицу», которая раз в не-

¹⁴ Рассказчик говорит, что мнительность «сделалась господствующим деятелем всей его жизни» (Салтыков-Щедрин, I, 300). В нескольких других местах отмечается, что Брусин «капризен и требователен до ребячества; повелителен до деспотизма; нестойк и изменчив до самого узкого эгоизма», что он «беспрестанно кидался в крайности. То чувствовал он порывы лихорадочной деятельности, то вдруг погружался в самую болезненную апатию» (там же, 286, 299). Эти же слова можно в равной степени отнести к «подпольному человеку» Достоевского.

¹⁵ «Вы <...> вечно колеблетесь, — говорит рассказчик о Брусине, — и вечно, как будто бы умышленно, насмежаетесь над самим собою» (Салтыков-Щедрин, I, 308). По поводу воспитания Брусина рассказчик восклицает: «Воспитание, господа, воспитание извратило его ум и сердце, а он не имел силы пересоздать себя. Воспитание сделало то, что он ни на чем не мог остановиться и беспрестанно кидался в крайности» (там же, 299). В другом месте он жалуется на «трусость так называемого спекулятивно-энциклопедического образования нашего» (там же, 321). В первой главе второй части «Записок из подполья» Достоевского и снова в конце десятой главы той же части появляется аналогичная тема — педовольство книжным воспитанием: «... все мы про себя согласны, что по книжке лучше. <...> Оставьте нас одних, без книжки, и мы тотчас запутаемся, потеряемся...» (5, 178—179).

¹⁶ «Я хочу сделать из нее женщину в высоком значенье этого слова <...> хочу ее образовать; хочу пробудить в ней сознание ее назначения» (Салтыков-Щедрин, I, 297).

делу за определенную плату оказывает ему необходимые услуги. Можно считать, что отношения Брусина и Ольги изображены в рассказе как снижение идеалистической любви (подобной той, которую испытывает Ордынцов в «Хозяйке»), а связь героя с безымянной «повелительницей острова Стультиции» низводит любовь к ничтожнейшему общему знаменателю: женщина превращается в объект вожделения. В том же направлении развивалась и концепция любви у Достоевского: для «подпольного человека» Лиза представляет собой лишь объект, которым он безжалостно «манипулирует», стремясь удовлетворить собственные желания. Таким образом, можно заключить, что эволюция Достоевского шла по пути, проложенному в рассказах Салтыкова.

Еще больший интерес вызывает другой аспект рассказа Салтыкова, который связан с его конструктивными особенностями и предвосхищает полемику Достоевского с рациональным утилитаризмом в «Записках из подполья». Дело в том, что история Брусина дана нам через повествователя — пестрого Николая Ивановича, который как-то раз дождливым вечером излагает ее своим друзьям. Среди слушателей присутствует безымянный молодой человек, который, судя по всему, выражает авторскую точку зрения и возражает против выводов, сделанных Николаем Ивановичем в конце рассказа. Спор молодого человека с рассказчиком выявляет противоположные идеологические позиции. Николай Иванович — приверженец позитивистского, утилитаристского мировоззрения. Человек, утверждает он, «должен отличать условное от безусловного, должен понимать, где *действительный его интерес* и где ложный» (Салтыков-Щедрин, I, 323. — Курсив наш, — Р. Н.), должен «делать все, что в его силах, «чтоб быть полезным» (там же). Молодой человек оспаривает эту точку зрения с позиций утопического социализма. Николай Иванович возлагает вину на самих людей, не понимающих, где лежит их разумно понятый долг; молодой человек во всем обвиняет общество, и в первую очередь предоставляемое обществом «уродливое воспитание».¹⁷ Укоряя Николая Ивановича за создание нового идола, «идола долга»,¹⁸ он, как и позднее «подпольный человек», противопоставляет понятие «должен» («долг» как разумная выгода) понятиям «хочу» и «желаю» (т. е. «страстям» в терминологии утопического социализма). Подобно герою Достоевского, он утверждает, что осуществление иррациональных эгоистических стремлений, удовлетворение личных вожделений («страстей») всегда будет для

¹⁷ «Где причина этой упорной неспособости Брусина к какой бы то ни было положительной деятельности? где, как не в уродливом воспитании, которое ровно ничему не учит?» (Салтыков-Щедрин, I, 322); «Как вы не хотите понять, что в ненормальной среде одна неестественность только и может быть названа нормальной?» (там же, 324).

¹⁸ «В идее долга я вижу одну пользу... Вы не любите идолов, Николай Иванович, а между тем создаете себе самый ужасный, самый мертвящий из всех — идол долга» (Салтыков-Щедрин, I, 323).

человека важнее, чем принцип разумной выгоды, который основывается на требованиях реальной действительности. Позитивистское, утилитаристское мировоззрение, судя по всему, представляется Салтыкову развитием олицетворенного рабства в Нагибине рационализма гегельянского толка, и он отказывается принять его. Устами молодого человека Салтыков советует его друзьям: «Пужно действовать, как можно больше действовать! Но я хочу, чтобы каждому оставили полную свободу жить, как он понимает, а не навязывались с своими теориями, которые только раздражают. Я иду за вами следом в отрицании идолов, но поступаю откровеннее вас, потому что *не хочу ровно никакого идола, даже... идола пользы*» (Салтыков-Щедрин, I, 324. — Курсив наш. — Р. II.). Знаменательно, что здесь предвосхищена основная тема «Записок из подполья» Достоевского — борьба с идолами, причем борьба идет не только с романтическим и идеалистическим мироощущением, но и с позитивизмом и утилитаризмом *в равной степени*. Реалист и прагматик, Салтыков отвергает аргументацию утилитаристских теорий и снова рекомендует «философию действия», хотя рекомендация эта неясно выражена и разработана не до конца. Создается впечатление, что Достоевский ответил на вызов молодого человека (т. е. самого Салтыкова) и показал в «Записках из подполья», к каким последствиям приводит мировоззрение, основанное исключительно на личных пристрастиях и устремлениях.

* * *

Существование параллелей и перекличек между ранними произведениями Салтыкова и повестями Достоевского (особенно его «Записками из подполья») можно отчасти объяснить знакомством каждого из них с произведениями другого.¹⁹ Многие параллели можно считать совпадениями, имеющими общий источник — идейную и литературную обстановку 1840-х годов. Подобные же параллели обнаруживаются между «Записками из подполья» Достоевского и созданными в те же годы произведениями Белинского, Герцена, Тургенева и Ап. Григорьева.²⁰ В то же время сравнительное изучение рассказов Салтыкова 1840-х годов и «Записок из подполья» показывает, что корни повести, созданной Достоевским в 1864 г., уходят в глубь идейных исканий и течений предыдущих десятилетий. Таким образом, мы получаем более широкую историческую перспективу, которая позволяет точнее определить место «Записок из подполья» в идейном и литературном развитии эпохи.

¹⁹ Следует, однако, повторить, что Достоевскому вряд ли мог быть известен «Брусин», который оставался неопубликованным при жизни Салтыкова.

²⁰ См. мою работу: Neuhäuser R. Romanticism in the Post-Romantic Age: A Typological Study of Antecedents of Dostoevskii's Man from Underground. — Canadian-American Slavic Studies, 1974, № 3; а также: Бялый Г. А. О психологической манере Тургенева. (Тургенев и Достоевский). — Русская литература, 1968, № 4.

И. А. БИТЮГОВА

РОМАН И. А. ГОНЧАРОВА «ОБЛОМОВ» В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ВОСПРИЯТИИ ДОСТОЕВСКОГО

В воспоминаниях метранпажа типографии М. А. Александрова сохранилось не вполне раскрытое высказывание Достоевского о героях его романа «Идиот». «Однажды в разговоре, — пишет М. А. Александров, — коснулись И. А. Гончарова, и я с большою похвалою отозвался об его „Обломове“, Федор Михайлович соглашался, что „Обломов“ хорош, но заметил мне:

— А мой идиот ведь тоже Обломов.

— Как это, Федор Михайлович? — спросил было я, но тотчас спохватился. — Ах да! ведь в обоих романах герои — идиоты.

— Ну да! Только мой идиот лучше гончаровского... Гончаровский идиот — мелкий, в нем много мещанства, а мой идиот — благороден, возвышен».¹

Устное суждение Достоевского о взаимосвязи образов Мышкина и Обломова дополняют трижды встречающиеся в черновиках писателя упоминания «Сна Обломова». В подготовительных материалах к «Преступлению и наказанию» второй половины 1865—начала 1866 г. несколько раз обозначено видение Христа, которое посещает Раскольников перед его признанием Соне, восстановлением (7, 77 и 139). Среди февральских «Nota bene к роману» намечалось: «Глава „Христос“ (как «Сон Обломова») копчается пожаром. После пожара он пришел с ней проститься. „Нет, я еще не готов, я полон гордости и фальши; я только что начинаю весь процесс переделки...“» (7, 166). О сне, похожем в каком-то отношении на обломовский, рассказывает в порыве доверчивости Воспитаннице и мизантропически настроенный Плюмятник, герой «Плана для рассказа (в «Зарю»)», набросок которого был сделан в феврале—первой половине марта 1869 г.: «Она

¹ Ф. М. Достоевский в воспоминаниях типографского паборщика в 1872—1881 годах. — Русская старина, 1892, № 5, с. 308.